

Этому очень яркому и самобытному (по другой версии — страшно скандальному и сумасбродному) режиссеру мало слов, которыми пользоваться все. У него свои особые — лексика и тональность речи. Поэтому и для интервью с Виктором катастрофически не хватает общепринятых знаков препинания. Фонтан, а не человек. Интонация, мимика, жесты Виктора не передашь, даже выстроив вереницу из восклицательных знаков и многоточий. Увы...

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

— Роман Григорьевич, прежде чем переодеться собственноручно, котел бы перепороть себя блячами. Не впервые наблюдал вас, и каждый раз вы в каком-нибудь сногшибательном пиджаке расцветки аля-уло, потертых брюках и с платочком на шее. Мне почему-то кажется, что вы не переживаете позора и покончите жизнь самоубийством, если кто-то даже случайно увидит вас, ну, скажем, в бражных носках или нечищенных ботинках.

— Странный вы человек: я — и в дражных носках! Как, почему, зачем? Я даже не могу себе такое страшное представить. Разве можно о подобном говорить? Ужас!

В буржуальном мире люди вообще по три раза в день костюмы меняют — в зависимости от ситуации. И я... Во время репетиции даже цвет пиджака имеет большое значение. Например, есть пьесы, которые нельзя репетировать не в шелковой рубашке.

— Какая здесь взаимосвязь?

— Очень простая. Синтетика поглощает энергию, которую я должен передавать артистам. Синтетика я вообще не признаю. Даже лен — казалось бы, натуральная ткань — задерживает энергию.

— Честно говоря, я не рассчитывал на столь серьезное обоснование...

— Где серьезное? Оно так и есть, я ничего не выдумываю.

— Но я-то полагаю, вы о стиле жизни заговорите, о соответствии образу.

— При чем тут стиль? Это уже автоматика. Скажем, я иду в театр смотреть "Чаюку", привезенную японцами. Японцы! Это предполагает определенный ритуал, не позволяющий надевать цветное. Я задрался во все темное и только вздрогнул, когда увидел японского режиссера в черном. Значит, не ошибся.

— И еще одно преобладающее разговору ощущение, которое нуждается в подтверждении или опровержении. Фильм "Баттерфляй" начинается с таких кадров: вы выдвигаете на балкон любой-отца старенького отца и проникновенным голосом просите его посмотреть вниз, в сторону кинотеатра. В этот момент в кадре неспешно появляются какой-то парнишка, которого вы тут же направляете по извещенному адресу...

— Да-да! Я ору на племянника: "Ах ты, блудя! Куды прешь?"

езда, естественно. Мы договорились, что я буду выступать в Неаполе два спектакля в год и читать курс в академии, а уж где я стану жить в перерывах — никого, кроме меня, не касается.

— И тем не менее в Москве вы по-прежнему продолжаете относиться как к некому перевалочному пункту на своем жизненном пути?

— Здесь моя прописка, мой дом. Я ведь сейчас почему-то не уехал на Украину, хотя, повторю, зовут очень активно.

— Поделитесь, Роман Григорьевич: вы испытываете по этому поводу определенное злорадство? Раньше, мол, гнали, а теперь уговаривают, хвост заносят.

— Меня и в Киеве во время гастролей многие спрашивали, не упиваюсь ли я тем приемом, который мне оказывают, созерцанием толп почитателей, осаждающих Октябрьский дворец, где проходили выступления моего коллектива? Я всегда искренне отвечал, что вид Киева, сходящего с ума от моих постановок, безусловно, мне приятен, но я не считаю себя настолько мстительным и злопыхатным человеком, что бы отравлял себе праздник. Даже тем, кто прежде немало постарался, чтобы выкурить меня с Украины, я помогал попасть на спектакли.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ

— Признаться, вы не производите впечатления беспечности.

— Почему? Я никогда ни на кого не держу зла.

— Тогда объясните, почему с таким упорством вы продолжаете на всех углах обзывать всякими ругательными словами страну, в которой живете? Как вы говорите: "империя зла", кажется?

— Почему сразу обзывать? Я просто называю: Москва — цитадель коммунизма, Ленинград — колыбель революции.

— Вы это серьезно?

— Почему нет? У вас так принято.

— У кого это у вас?

— Ну, у вас.

— А вы, значит, сами по себе?

— Приехать сразу после школы из Западной Украины, из Львова в Москву — да это же было безумие! Все равно, что добровольно сесть в тюрьму. Надо же помнить те годы. У меня коммунисты родственники сослали в Сибирь, пересажали по ГУЛАГовским лагерям. Мамин брат лет семнадцать на лесоповале отпал.

Одна нашего класса выходила прямо во двор пересыльного пункта, куда свозили под конвоем людей со всей округы. Наши уроки проходили под крики, плач этих безвинных жертв. На этом мы воспитывались. Помню, как всех нас солдаты называли бандеровцами, всех, кто говорил не по-русски...

Из дома, где жила моя семья, каждую ночь кого-нибудь обязательно вывозили. Лестница в доме была деревянная, жутко скрипела под сапогами, и мы все прислушивались, у чьих дверей шаги затихнут. Господи, да у нас после войны творилось то же, что у вас в 37-м году! Как сейчас вижу: иду утром в школу мимо раскрытых дверей чужих квартир, а там вещи валяются, книги. Однажды семью со второго этажа арестовали только за то, что у них была книжка Симо-

нами и орал: "Это пошло, это гадко. За такую пьесу никто и никогда не возьмется". Спустил много лет и встретился с этим режиссером, попытался напомнить обстоятельства нашего знакомства. Он начал уверять меня, что я самый любимый его режиссер, а Сашу Вампилова он вообще всю жизнь мечтал поставить у себя.

— Скажите, о ком речь.

— Назову, еще обидится. Говорю же вам, что я трус... А впрочем... В театре Гоголя дело происходило. Я после того случая лет пятнадцать в этот театр не заходил, не мешал.

Но я недорассказал. Вышли мы от этого режиссера, как оплеванные. Саша в своем сыне, каком-то зачуханном костюмчике, пытающийся спрятаться за меня, и я, старающийся спрятаться за него. Брели мы к метро "Курская", и Саша вдруг заговорил о замысле "Утиной охоты". И у меня не хватило ума тогда же все это записать. Помню только, что финал был другой, с убийством. Потом я дважды пытался поставить пьесу так, как слышал тогда от Саши, но, думаю, значительную часть вампиловских шрифтов, заложенных в текст, я пропустил. Многовек было на уровне полутонного, намека. Цензура страшно уродовала пьесы Вампилова, и Саша вынужден был защищаться.

Конечно же, он ненавидел всю эту советскую систему. На этом мы с ним сошлись. Мы не были дисидентами, об этом даже смешно говорить, но чувством несчастья ощущалось нами вполне. Пугливость исходила не от страха, что посадят. Мы мучились от незнания, где и как искать выход. Мне лично очень помогало общение с Даниэлем и Синяевским, яркими личностями, определявшими мой мировоззренческий кругозор.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, скажу: не я укреплял себя и даже не люди, меня окружавшие. Тут другое. Это можно по-разному называть — в зависимости от образования, воспитания, культуры. Я считаю, что меня спасал мой ангел-хранитель, некий высший разум, руководящий всеми нами.

К счастью, я живу не в суе, давно осознав необходимость создать свой собственный окол, недоступный для других. Я, например, никогда не буду состоять в штате государственного театра, потому что знаю: стоит дать ухватиться за палец, как эта машина затянёт тебя всего с головой. Я высказываю из засады, добегаю до чужого окопа, поласусь там немножко и — обратно. Но в каждом театре, в котором мне приходится работать, я стараюсь создать кружок единомышленников. Помню, мне удалось сколотить команду — Пастухов, Калегин, Терехова... Дюжест лучших артистов! Я притащил их на телевидение. Боже, как мне хотелось, чтобы у меня играл и Высоцкий. Но они, представители этой вашей системы, сделали все, чтобы не выпустить Володю на экран. А ситуация во МХАТе, где я ставил роштинскую пьесу "Муж и жена снимают комнату" и использовал песни Высоцкого? Я настаивал, чтобы авторство Володи обязательно было отражено в афише. И что? Написали. Среди бутаров, костюмеров, администраторов. У меня эта афиша теперь висит дома.

Но между прочим, упоминание в афише академического театра дало право Высоцкому выступать с авторскими концертами. Представляете? Володя всю жизнь меня благодарил за то, что я решился проявить настойчивость.

— И тем не менее вы ведь, наоборот, предпринимали какие-то шаги, чтобы перехитрить КГБ?

— Как их можно перехитрить? Что вы такой наивный? Они всегда все знали обо мне, а я все знал о них. Только я никогда в жизни с ними не общался.

— И кому вы все это рассказывали?

— Что вы такое невозможное говорите? Они постоянно были рядом, словно левая или правая рука. Но самое важное — главный цензор сидел внутри меня, как, впрочем, и в каждом из нас. Совсем необязательно было вызывать человека на какую-нибудь Лубянку, чтобы пригнать. Мы все сами душили себя. Так вожди гениально придумали эту систему...

Когда в Ленинграде в театре комедии я ставил "Льстца" Гольдони, мне попались Нобелевская лекция Александра Солженицына и новая книжка Андрея Синяевского. Прочитанное показало мне настолько актуальным, что я решил непременно оставить эти тексты в итальянскую пьесу. Опять-таки из вредности, подвоха или дисидентства. Боже упаси! Мне захотелось поделиться тем, что узнал сам. Я считал себя не вправе духовно обелять людей, пришедших на спектакль. Поэтому я придумал какие-то мифические дневники Гольдони. Никому не говорил правду! Даже переводчице не мог этого сказать, сочинил для нее легенду, что сам нашел перевод этих дневников и только послал: "Тамарочка, посмотри текст, поправь, если требуется". У нее хватило ума признать, что все написано на очень хорошем русском языке. И артист Ленке только в позапрошлом году узнал, что на протяжении 10-15 минут произносил солженицынскую крамолу...

А как смотрели на меня, когда я пригласил Бориса Гребенщикова, которого еще никто не знал, спеть песню на стихи Гумилева? Б.Г. и его архаичные явления в академический театр в дражных джинсах, с повязками на головах, уселись на пол и стали репетировать. Закончили все тем, что вызвали работницу из управления культуры, который и вынул номер из спектакля. Жаль, та запись у меня не сохранилась. Это было, по-моему, одно из первых выступлений Гребенщикова.

— Когда это было?

— А что, запомнил? Когда Солженицыну присудили Нобелевскую премию, тогда и было. Я сразу текст его прочел за полуполу.

...Теперь, небось, ты спросишь, где я текст взял? Но я же все-таки общался с людьми!

АКТЕР АКТЕРЫЧ

— Роман Григорьевич, я неоднократно присутствовал на ваших репетициях и хочу сказать...

— Ну что, что ты хочешь сказать?

—...что всегда поражался вашему фонтану...

— О, Боже! Фонтану чего?

— Всегда! И когда вы матом прете на Лию Ахеджакову...

— А зачем ты слушаешь?

— А зачем вы говорите?

— Что мне остается, если она не понимает ничего другого и способна воспринимать лишь язык, к которому она привыкла?

— Полагаете, только так можно изъясняться с актерами?

— К Виктору Ерофееву претензий не имеете? У него вся книга состоит из этих слов. Это ваш язык.

— Опять "ваш"!

Виктор Роткин

Конечно вы же меня бы научили. Но, кстати, много зависит от того, как произносить то или иное слово. Между прочим, и Лия очень даже уверенно выговаривает эти буквы. Она же при- знает: "Да, вы правы, я бездарная п...а!" И Неелова согласилась, что она старая п...а. Это уже большой прогресс.

— Простите, а вас в ответ никто из артистов мужским синонимом этого слова не имену-ет?

— Каким?

— Ну, как бы вам объяснить? Тем, что на Руси прежде называлось удом?

— Нет, я такого не слышу, в этом мое счастье. Боже, подобное невозможно представить! Я всегда учу: врите, но говорите только хорошее. Помню, когда начинал репетировать "Марию Стюарт", сразу предупредил: можете как угодно обзывать меня за глаза, это ваши проблемы, но в глаза — лишь смайл, улыбка. И два года у меня было все идеально. Зачем накапливать отрицательные эмоции?

Но ведь вы не спросили о главном: на меня ни один артист не обижается. Когда же один молодой режиссер, посидев на моей репетиции, попробовал сам сказать актерам из этого же театра нехорошее слово, на него тут же написали в местком, и режиссер получил выговор. Понимаете, ко мне отношение иное. Театр — ведь жизнь моя, семья. Меня все здесь знают, и я всех. Я и с Татьяной Доро-ниной, к примеру, так же общаюсь. Только я один могу ее ругать. Даже ее бывший муж Эдик Радзинский убежал в страхе из зала, когда я начинал крыть Татьяну последними словами. А с Олегом Ефремовым как мы цапались!

И еще очень важный момент: я ведь ни на кого не таю зла. Обматерю, а через секунду первый кричу "Брависсимо!" Ору, бегаю по залу, ругаюсь, хвалю, а за всем за этим единственная цель — создать особую творческую обстановку, раскрепостить актера, стать там зеркалом, в котором он увидит самого себя. Сегодня процесс рождения спектакля важнее, чем сама постановка.

— Может, секрет беспресловитого подчинения вам актеров заключается в том, что вы обладаете абсолютной властью над ними?

— Какой властью? Я ведь им не начальник, зарплату не плачу, квартиры и путевки в санатории не распределяю.

— Ой, Роман Григорьевич, а то вы не понимаете, о чем я говорю!

Ладно, давайте конкретно. Валентина Талызина рассказывала, как вы заставляли ее во-



Калининградский драматический театр им. М. Горького. Шухрат А. ПАРДАЕВ

МАЗОХ

— Именно это я имел в виду, но не решался повторить.

— А что тут такого? Это же правда. — Вам виднее, но я хотел бы продолжить: шуганул племянника "А моментально разыгрывает следующий зуб, подобно вытаскивая отца на балкон и заговаривая с ним с прежней проникновенностью, словно перед этим не было былых змий."

— А чему вы удивляетесь? Михаил Чехов в "Там-лето" доводил весь зал до рыданий, плакал сам и при этом, на секунду повернувшись спиной к зрителям, показывал партнерам язык, чтобы через мгновение, захлебываясь слезами, продолжить играть роль. А как же иначе? Идет постоянное раздвоение личности. Обычное состояние натур творческих.

— Вы хотите сказать, что в любой ситуации остаетесь режиссером?

— А как же! Даже когда людей хоронишь, наблюдая за поведением окружающих. Невольно все подмечается: где фальшь, где искреннее чувство. Об этом еще Станиславский говорил, отводя упреки в жестокосердию: профессиональное выше человеческого.

ЗАНАВЕСКИ НА ОКНАХ

— А теперь непосредственно вопросы по существу.

— Ну какие, скажи.

— Давать ли в начале разберемся с занавесками, которые, слышал, наконец-то появились на окнах в вашей квартире.

— К сожалению, появились. И это дурной знак...

А вы откуда о занавесках знаете?

— А интервью готовились.

— Да вы что, сумасшедший... Кто ж ему про занавески скажет?

У меня уже есть своя примета: стоит мне только повесить занавески, как сразу приходится из этого города уезжать.

— Именно поэтому вы и жили в Москве с голыми окнами лет пятнадцать?

— Что, сколько лет? Боже, какой наивный человек!

Так вот о примете. Не успели повесить занавески, то есть я худо-бедно занялся обустройством собственного быта, как сразу же возникла тема возвращения на Украину, появились президент... как его, к черту, звать?... Кравчук, премьер-министр, депутаты киевские. Во время недавних гастролей моего театра в Киев я каждый вечер с кем-то из руководства республики встречался и разговор шел об одном и том же: о переводе на Украину.

— В общем, вас официально пригласили?

— Официально — не то слово! Правительство за-седало и обсуждало проблему строительства здания для моего театра. Уже и место на склонах Днепра подобрали. Я даже съездил, посмотрел. Что вы, в Киеве всерьез настроены меня обратно сманить.

— Вы дали согласие?

— Я никогда в таких ситуациях ничего не говорю, а только терпеливо жду. О, если я отвечал "Да", было бы легко...

Снимать занавески в московской квартире, боюсь, уже поздно... Правда, вешал их не я, но теперь это уже и неважно. Что сделано, то сделано.

Все случившееся — эти приглашения с Украины, киевские соблазны — только доказывает, что никогда нельзя идти против себя. Я и в Калинин — Тверь по-прежнему — когда приехал работать, с голыми окнами жил. Упорно. Едва же повесил какие-то вонючие тряпочки — и во! А в Вильнюсе? Актеры уже хотели надо мной. Я закрывал окна газетками. Менял их, когда они совсем уже выгорали. Четыре года все было нормально. И вот эти артисты чертovsky подарил шторы — примитивные, простые, Я их повесил. Все!

Так и на этот раз. Кстати, кроме Украины, меня ведь еще и в Италию зовут.

— Им тоже ничего не ответили?

— Контракт на три года я подписал, но без пере-

нова "Дни и ночи". Вы можете себе такое представить? И надо же было мне именно эту книжку под-нять! Я взял ее с пола в чужой пустой квартире и от-нес в библиотеку. Тогда было такое правило: прежде чем записаться на абонемент, надо самому сдать одну книгу. Я и решил принести "Дни и ночи". Не забуду ли-чу украинки библиотекарши — украинки, подчеркиваю — которая замаскала на меня руками и сказала: "Спрячь эту книжку и никому никогда ее не показывай".

— Какой это год был?

— А я знаю? Что я, высчитывал? Нехороший год.

Теперь вы чуть-чуть понимаете, почему Москва для меня являлась цитаделью коммунизма? Родственники на учебу меня отправляли, как на край света — со своими подкусами, скорородками, кастролями. Они понимали, что я человек упорный, если решил учиться в театральном институте, до своего добьюсь, но в то, что я вернусь из Москвы живым и невредимым, никто не верил. Как навсегда прощались... Еще эти ваши страшные переполненные вагоны. О, Боже!

— Все-таки: "у вас" — это у кого? У России, у русских?

— У цитадели коммунизма. Все вы тут космо-мольцы и коммунисты.

— Вы, получается, красный галстук не носили?

— Моего согласия никто не спрашивал, взял и принял в пионеры. То же самое и с комсомолом. Но все равно мы эти галстуки и значки носили не так, как вы. Только в школе, а за порогом сразу срывали и прятали в карман. Если бы мы росли в обыкновенной "советской" семье, то в день смерти Сталина, напри-мер, должны были бы испытывать горе и ужас, а мы радовались, хохотали, ибо чувствовали совсем иное. Кроме всего прочего учителя, что я еще и верующий человек.

— Крепкий вы в детстве?

— А когда же еще?

— Мало ли...

— Нет, у нас так не бывает.

Греко-католическая церковь долгое время была под запретом, и я даже не мог допустить мысль, что она когда-нибудь выйдет из подполья. Но это не мешало моей вере. Как-то, кажется, в честь 60-летия образования СССР я ставил пьесу Ивана Франко "Украденное счастье" во МХАТе имени Горького и сделал так, что на протяжении всего спектакля звучала греко-католическая месса. Однажды в театре ко мне по-дошел незнакомый человек, отвел в сторону, поцеловал руку и шепотом спросил: "Вы понимаете, что на-творили?" Я прекрасно понимал. Когда у меня комис-сия министерства культуры интересовалась, как за музыка сопровождает спектакль, я без секундной за-минки отвечал, что это Черновицкий хор. Все тут же начинали восторгаться голыми талантливыми испол-нителями, выросшими при социализме. Я, понятно, соглашался. На самом же деле, пели кандакские украин-цы. Эту запись мне передала жена посла Канады...

Нет, вы не подумайте, это не было с моей сто-роны каким-то сознательным вызовом, скрытой из-девкой или, Боже упаси, провокацией. Просто я не мог поступить по-другому.

— И чем же вы себя укрепили в этой самой цитадели?

— Это не я. По натуре я труслив. В своей жизни мне встречался только один человек трусливым — человек, чьм это Александр Вампилов.

Мы познакомились с ним в Твери, когда Сашу никто еще не знал и не ставил. Вместе ходили по мос-ковским театрам, просили посмотреть его пьесы "Сви-дания в предместье" (снятый гораздо позже фильм назывался "Старший сын", помните, там Леонва, Ка-реченцов, Боярский играют?). Так вот... Проникнулись мы по полтора часа в приемных маститых столичных мэров. Обсидели тогда почти все театры. В одном нам режиссер просто шаркнул пьесу обрято. Я не увер-жал страницы, и они ввером разлетелись по полу. Мы с Сашей ползали на карачках, а режиссер стоял над

ЧЕЧИРКА, МАНИЮРКА И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА

— Давайте поговорим об анатомии. Как пере-вести с википедического на русский слова "ма-ниюрка", "чечирка"?

— Это знают даже итальянцы, шведы и амери-канцы. Выучили.

— Простите и меня.

— Маниюрка — женский детородный орган, чечир-ка — мужской. Все очень просто. Эти слова входят в правила игры с актерами, которой я пользуюсь на ре-петициях и тем самым помогаю артистам вернуться в детство. Это необходимо, поскольку с потерей ощу-щения первоуродности исчезает искусство. Детство же-вива в Марине Нееловой, поэтому мне так легко с ней работать. Ребенком до самых последних дней жизни была Фаина Раневская, уголкам своих синих глаз она сражала напоевал.

— И все-таки давайте о неологизмах. Это чисто ваше изобретение?

— Господи, ну конечно. Я был потрясен, узнав, что, например, в Риме есть улица Чичероне. Забавно!

— Я правильно понял, что, по вашей теории, чечирка и маниюрка — глупые имена человека?

— Не стал бы утверждать так категорически. по-разному бывает. Если, например, я использую фрой-дистский анализ в работе над спектаклем, то не стремлюсь общаться с артистами на наукообразном язы-ке. Это не приводит к нужному результату, меня не-ко спутать не станет, с речами Зигмунда Фрейда я буду выглядеть дебилком. Поэтому, зная Фрейда, я его использую не напрямую, а с помощью игры.

— Слышал о ваших планах экранизировать "Венеру в мехах" Захера-Мазоха...

— Это продолжение всей той же темы постиже-ния тайны человеческой.

Кроме того, автор этого произведения — мой зем-лиак, льювоянин. Главное же то, что открытие мазо-хизма, охватывающего не только область секса, но и политики, определило направление развития цивили-зации в XX веке. Когда я смотрю все эти депутатские съезды, заседания Верховного Совета, я убеждаюсь, как Мазох все правильно предугадал: это же чистые мазохисты!

— Себя вы, случаем, не относите к их чис-лу?

— Мазохистов? Я член общества Мазоха, но это совсем другое. Мне интересны взгляды этого челове-ка, я добиваюсь открытия во Львове его музея, уста-новки памятника.

— Безусловно, это очень актуально: увеко-вечение памяти родоначальника, как утвержда-ет "Большой энциклопедический словарь", раз-нобности подобного избрания.

— Господи, наши откуда черпают информаци-ю! Никакое это не половое извращение. Вся мировая культура пользуется мазохизмом.

— Политики — импотенты?

— Роман Григорьевич, вы мимоходом броси-ли фразу о политиках, но мне хотелось бы услы-шать более развернутую вашу оценку их сексу-альной притякательности.

— Боже, какая притякательность! Стремление к власти убивает в человеке все остальное. Хот... Когда видишь, как сидит Хасбулатов, совершенно от-чужденно ощущаешь, что пружина у него в одном мес-те. И он эту пружину постоянно закручивает, а про-тивники наоборот пытаются ее раскрутить.

— А у Ельцина эта самая, употребляя вашу терминологию, пружина есть?

— Безусловно, но они с Хасбулатовым пользует-ся ими абсолютно по-разному. Ельцин умеет рас-кручивать хотя бы создает видимость, а Хасбу-латов в постоянном напряжении. Поэтому первый как бы разбуксует, а второй напротив — сжимается.

— И чем это заканчивается?

— Откуда я знаю, у кого пружина крепче? Мо-жет, Хасбулатов за границы сделал себе ве из золо-та. Они все коммунисты, у них эта система отрабо-та-

на. А может, эти пружины хранятся в специальных ба-рокамерах, проходят спецобработку.

— Сбывчающаяся чечирка?

— Совершенно точно.

— Помню, как вы буквально парой слов раз-мазали Собчака.

— Я тебе дам сейчас! Что я такое сказал?

— Вы рассказывали о том, как Анатолий Александрович принимал вас в Питере. Он вам что-то говорил, а вы не знаете, в какой глаз смотреть.

— Я и сегодня не знаю! Он же косой. Собчак! Я его боюсь!

Кстати, я ведь жил в его резиденции в Смоль-ном.

— В Смольном — бы?

— Ну да! В этом же вся трагедия! Это даже не цитадель, а люлька вашего коммунизма. Я в люльку залез и раскачиваю в ней! Я жил в домике, в кото-ром жил Ефандов, сидел за столом, за которым он по-чиная свои пашкили на Ахматову и Зощенку. Я гово-рил по телефону, по которому говорил Жданов!

Чтобы вы совсем поразились, скажу, что в Моск-ве я живу в бывшей квартире Василия Сталина. Како-во, а? — И потомок этого тирана!

— Это эгология, а в реальной жизни с бла-стами бы часто соприкасаетесь?

— Никогда! Даже в театре. Было два спектакля — "Царская охота" и "Анна Каренина", пользовавшиеся популярностью у членов Политбюро ЦК. К своей че-сти, Тереховой, Маркова и Зорина мы ни разу не сходили в бубет, который эти самые руководители всегда привозили с собой.

— Даже не подружили к божиам, их мнением не интересовались?

— Господи, да он глухой совершенно! Вы пони-маете, это ложа, туда поднимаются надор.

— А как же Крачук?

— И с ним было гениально. Обычно как говорят? "Леонид Макарович, познаться...". Я же все под-строил так, что Крачука мне представляли. Правда, у президента хватило ума рассмеяться. Этим он